

ДМИТРИЙ БЫКОВ

ЯСНО

НОВЫЕ
СТИХИ
И ПИСЬМА
СЧАСТЬЯ

Я НЕ СТОЮ И ЭТИХ ЩЕДРЫХ
ДОЛГОЙ НОЧИ, КОРОТКОГО ЛЕТА
ПОТОМУ, ЧТО НЕ ТАК И НЕ ТОТ
Я С МЛАДЕНЧЕСТВА ЧУВСТВУЮ ЭТО.
ЧТО НАЧНУ — ОБРАЩАЕТСЯ ВСПЯТЬ,
ЧТО СКАЖУ — ПОНИМАЮТ ПРЕЖДЕ
НЕДОУМНОМ ИЛИ МЯГКОСТЬЮ ЗВЯ

Дмитрий Львович Быков
Ясно. Новые стихи и письма счастья

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8868101
Ясно. Новые стихи и письма счастья / Дмитрий Быков.: АСТ; Москва; 2015
ISBN 978-5-17-087962-5

Аннотация

В новую книгу поэта Дмитрия Быкова вошли стихо– творения и политические фельетоны в стихах «Письма счастья», написанные за последние два года, а также ранее не публиковавшаяся полная версия перевода – адаптации пьесы Ж.-Б. Мольера «Школа жен», выполненного по заказу театра-студии Олега Табакова.

Содержание

Ясно. Стихи	4
Ясно	4
Новая одиссея	6
Обратный отсчет	8
Газета жизнь	10
Русский шансон	11
«В полосе от возраста Тома Сойера...»	13
Диптих	14
1. Блаженство	14
2. Депрессия	14
«Крепчает ветер солоноватый, качает зеленоватый вал...»	16
«Пришла зима...»	18
НОВЫЕ БАЛЛАДЫ	19
Первая	19
Вторая	20
Третья	22
Четвертая	23
Пятая	24
Шестая	25
Седьмая	26
Восьмая	27
Девятая	29
Десятая, маршеобразная	30
Ронсаровское	32
«Без этого могу и без того...»	33
«Он клянется, что будет ходить со своим фонарем...»	34
Турнирная таблица	35
«В левом углу двора шелудивый пес, плотоядно скалясь...»	36
Начало зимы	37
1. Зима приходит вздохом струнных	37
2. «Чтобы было, как я люблю...»	38
3. «Вот девочка-зима из нашего района...»	39
4. «Танго...»	40
5. «Как быстро воскресает навык!...»	41
«Средневозрастный кризис простер надо мной крыло...»	43
«Я не стою и этих щедрот...»	45
«В Берлине, в многолюдном кабаке...»	47
Песни славянских западников	49
1. Александрийская песня	49
2. О пропорциях	49
3. «Квадрат среди глинистой пустыни...»	50
4. «В России блистательного века...»	52
5. «Были мы малые боги...»	53
«Не рвусь заканчивать то, что начато...»	55
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Дмитрий Львович Быков

Ясно. Новые стихи и письма счастья

Автор благодарит «Новую газету», на страницах которой была впервые опубликована часть текстов, вошедших в книгу, и лично Дмитрия Муратова и Ольгу Тимофееву

Ясно. Стихи

Ясно

Зеленое небо, лиловое облако,
Осенние сумерки, гул и прохлада.
Особая ясность, отчетливость облика
Шоссе, перелеска, высотки у МКАДа.

Такое же небо в конце навигации
Я видел у края полярного края:
Из памяти всплыло, пришло повидаться ли,
В спокойной надежде меня укрепляя?

Я помню зеленое небо Анадыря,
Над гладкими водами с пятнами масла,
Такое пустое, такое громадное,
Без слов говорящее: ясно, всё ясно.

Последнее судно уходит из гавани,
И чайки за ним устремляются свитой.
Над их голосами корявыми, ржавыми
Сгущается ночь синевой ледовитой.

Мне снятся хрущевки цветистые ящики
И школьник, живущий в хрущевке у бухты,
Спокойно смотрящий вослед уходящему
Без всякого «ах ты», без всякого «ух ты».

Я сам этот школьник, возросший в Анадыре,
Смотрящий в окно отрешенно и немо,
Не знающий всяких «а можно?», «а надо ли?»,
А знающий это зеленое небо.

Стою в полутьме, выключатель не дергаю,
И молча смотрю – не без сладкой щекотки —
На город, всплывающий в долгую, долгую,
Для многих последнюю зиму Чукотки.

Другого величия нам не обломится,
Но сладко – взамен паникерства и пьянства —
Смотреть на стеклянную трубку барометра,
Без слов говорящего: ясно. Всё ясно.

Новая одиссея

Пока Астреев сын Борей мотал меня среди зыбей,
Прислуга делалась грубей, жена седела.
Пока носился я по морю под названьем Эге-гей —
Итака тоже сложа руки не сидела.
Богов безжалостных коря, мы обрывали якоря,
В сознание путались моря, заря рдела,
Дичают земли без царей, и, помолясь у алтарей,
Она отправилась ко мне, а я к ней.

Теперь мужайся и терпи, мой край,
сорвавшийся с цепи,
Мой остров, каменный и малогабаритный.
Циклоп грозил тебе вдогон,
швырял обломки листригон,
Проплыл ты чудом между Сциллой и Харибдой,
Мой лук согнули чужаки, мой луг скосили мужики.
Служанки предали, и сын забыл вид мой,
Потом, накушавшись мурен,
решил поднять страну с колен,
Потом, наслушавшись сирен, попал в плен.

Когда окончится война, нельзя вернуться ни хрена.
Жена и дочка вместо книг читают карту,
И мать взамен веретена берет штурвал – удивлена.
Не знаю, как там Менелай попал на Спарту,
Не знаю, как насчет Микен, —
ведь мы не видимся ни с кем, —
Но мир, избавившись от схем, готов к старту.
Под Троей сбились времена: стационарная страна
И даже верная жена идет на.

И вот нас носит по волне: то я к тебе, то ты ко мне,
Невольник дембея и труженица тыла;
Твердела твердь, смердела смерть,
не прекращалась круговерть,
А нас по-прежнему друг к другу не прибило.
Вот дым над отчею трубой, и море выглядит с тобой
Обрывком ткани голубой с куском мыла, —
И, проплутавши десять лет,
ты вовсе смылишься на нет,
А там и след сотрется твой, и мой след.

В погожий полдень иногда, когда спокойная вода
Нам не препятствует сближаться вдвое-втрое,
Я вижу домик и стада, мне очень хочется туда,

Но что мне делать, господа, при новом строе?
Седой, не нужный никому, в незнаваемом дому,
Я б позавидовал тому, кто пал в Трое.
И нас разносит, как во сне, чтоб растворить в голубизне.
Кричу: ты помнишь обо мне? Кричит: да.

Обратный отсчет

До чего я люблю это чувство перед рывком:
В голове совершенный ревом,
Ужас ревет ревом,
Сострадания нет ни в ком,
Слова ничего не значат и сбились под языком
В ком.

До чего я люблю эту ненависть, срывающуюся на визг,
Ежедневный набор, повторяющийся,
как запиленный диск,
В одном глазу у меня дракон, в другом василиск,
Вся моя жизнь похожа на проигранный вдрызг
Иск.

До чего я люблю это чувство, что более никогда —
Ни строки, ни слова, ни вылета из гнезда,
И вообще, как сказал один, «не стоит труда».
Да.

Ночь, улица, фонарь, аптека,
бессмысленный и тусклый свет.
Надежды, смысла, человека,
искусства, Бога, звезд, планет —
Нет.

Однажды приходит чувство, что вот и оно —
Дно.
Но!

Йес.
В одно прекрасное утро идет обратный процесс.

То,
Которое в воздухе разлито,
Заставляет меня выбегать на улицу, распахивая пальто.

Ку!
Школьница улыбается старику.
Господь посылает одну хромающую строку.
Прелестная всадница оборачивается на скаку.

С ней
Необъяснимое делается ясней,
Ненавистное делается грустней,
Дэвида Линча сменяет Уолт Дисней,

Является муза, и мы сплетаемся всё тесней.

Ох!

Раздается сто раз описанный вдох.

Пускает корни летевший в стену горох,

На этот раз пронесло, ступай, говорит Молох,

У ног в нетерпенье кружит волшебный клубок,

В обратном порядке являются звезды, планеты, Бог.

А если я больше не выйду из ада,

То так мне и надо.

Газета жизнь

Из Крыма едешь на машине сквозь ночь глухую напролом меж деревнями небольшими меж Курском, скажем, и Орлом, – сигает баба под колеса, белесо смотрит из платка: «Сынок поранился, Алеша, езжай, сынок, спаси сынка»; прикинешь – ладно, путь недалог, еще подход – нет человек; свернешь с дороги на проселок, а там четырнадцатый век: ни огонька, забор, канава, налево надпись «Горобец», «Большое Крысово» направо, прикинь, братан, вообще пипец, дорогой пару раз засели, но добрались; «Сынок-то где?» – «Сынок у доме», входишь в сени – фигак! – и сразу по балде. Не пикнешь, да и кто услышит? Соседей нет, деревня мрет. На занавеске лебедь вышит. Все думал, как умрешь, а вот. Я чуял, что нарвусь на это, гналось буквально по пятам, кому сестра – а мне газета, газета жизнь, прикинь, братан.

Сынок-дебил в саду зарует, одежду спрячет брат-урод, мамаша-сука кровь замозет, машину дядя заберет, умелец, вышедший сиделец, с прозрачной трубкою в свище; никто не спросит, где владелец, – прикинь, братан, пипец вообще, приедет следовательно с Курска, проверит дом, обшарит сад, накормят грязно и невкусно и самогоном угостят, он различить бы мог у входа замытый наскоро потек, но мельком глянет на урода, сынка с газетою «Зятек», жигуль, который хитрый дядя уже заделал под бутан, – да и отступится не глядя, вообще пипец, прикинь, братан, кого искать? Должно быть, скрылся. Тут ступишь шаг – помину нет. Он закрывает дело, крыса, и так проходит десять лет.

Но как-то выплывет по ходу: найдут жигуль по волшебству, предъявят пьяному уроду, он выдаст брата и сестру, газета жизнь напишет очерк кровавый, как заведено, разроют сад, отыщут прочих, нас там окажется полно, а в человеке и законе пройдет сюжет «Забытый грех», ведущий там на черном фоне предскажет, что накажут всех, и сам же сядет за растрату бюджетных средств каких-то там, и поделом ему, кастрату, ведь так трындел, пипец, братан, ведь так выделывался люто про это Крысово село, а сел, и это почему-то, прикинь, обиднее всего.

Русский шансон

Я выйду заспанный, с рассветом пасмурным,
С небес сочащимся на ваш Бермудск,
Закину за спину котомку с паспортом,
И обернусь к тебе, и не вернусь.

Ты выйдешь вслед за мной под сумрак каплющий,
Белея матово, как блик на дне,
И, кофту старую набросив на плечи,
Лицо измятое подставишь мне.

Твой брат в Германии, твой муж в колонии,
Отец в агонии за той стеной,
И это все с тобой в такой гармонии,
Что я б не выдумал тебя иной.

Тянуть бессмысленно, да и действительно —
Не всем простительно сходить с ума:
Ни навестить тебя, ни увести тебя,
А оставаться тут – прикинь сама.

Любовь? Господь с тобой. Любовь не выживет.
Какое *show must*? Не двадцать лет!
Нас ночь окутала, как будто ближе нет,
А дальше что у нас? А дальше нет.

Ни обещаньница, ни до свиданьница,
Но вдоль по улице, где стынет взвесь,
Твой взгляд измученный за мной потянется
И охранит меня, пока я здесь.

Сквозь тьму бесстрастную пойду на станцию
По мокрым улицам в один этаж —
Давясь пространствами, я столько странствую,
А эта станция одна и та ж.

Что Суходрищево, что Голенищево
Безмолвным «ишь чего!» проводит в путь
С убого-слезною улыбкой нищего,
Всегда готового ножом пырнуть.

В сырых кустах она, в стальных мостах она,
В родных местах она растворена,
И если вдруг тебе нужна метафора
Всей моей жизни, то вот она:

Заборы, станции, шансоны, жалобы,
Тупыми жалами язвящий дождь,
Земля, которая сама сбежала бы,
Да деться некуда – повсюду то ж.

А ты среди нее – свечою белою.
Два слезных омота глядят мне вслед.
Они хранят меня, а я что делаю?
Они спасут меня, а я их нет.

«В полосе от возраста Тома Сойера...»

В полосе от возраста Тома Сойера
До вступленья в брак
Я успел заметить, что все устроено,
Но не понял – как.

Примеряя нишу Аники-воина
И сердясь на чернь,
Я отчасти понял, как все устроено,
Но не знал – зачем.

К тридцати годам на губах оскомины.
Разогнав гарем,
Я догнал, зачем это все устроено,
Но не понял – кем.

До чего обычна моя история!
Самому смешно.
Наконец я знаю, кем все устроено,
Но не знаю – что.

Чуть заввижу то, что сочту структурой, —
Отвлечется взгляд
На зеленый берег, на тучу хмурую,
На Нескучный сад.

Оценить как должно науку чинную
И красу систем
Мне мешал зазор меж любой причиной —
И вот этим всем.

Да и что причина? В дошкольном детстве я,
Говоря честней,
Оценил чрезмерность любого следствия
По сравненью с ней.

Наплясавшись вдоволь, как в песне Коэна,
Перейдя черту,
Я не стану думать, как все устроено,
А припомню ту

Панораму, что ни к чему не сводится,
Но блестит, —
И она, как рыцарю Богородица,
Мне простит.

Диптих

1. Блаженство

Блаженство – вот: окно июньским днем,
И листья в нем, и тени листьев в нем,
И на стене горячий, хоть обжечься,
Лежит прямоугольник световой
С бесшумно суевающейся листвой,
И это знак и первый слой блаженства.

Быть должен интерьер для двух персон,
И две персоны в нем, и полусон:
Все можно, и минуты как бы каплют,
А рядом листья в желтой полосе,
Где каждый вроде мечется – а все
Ликуют или хвалят, как-то так вот.

Быть должен двор, и мяч, и шум игры,
И кроткий, долгий час, когда дворы
Еще шумны, и скверы многолюдны:
Нам слышно все на третьем этаже,
Но апогеи пройдены уже.
Я думаю, четыре пополудни.

А в это сложно входит третий слой,
Не свой, сосредоточенный и злой,
Без имени, без мужества и женства —
Закат, распад, сгущение теней,
И смерть, и все, что может быть за ней,
Но это не последний слой блаженства.

А вслед за ним, невинна и грязна,
Полуразмыта, вне добра и зла,
Тиха, как нарисованное пламя,
Себя дает последней угадать
В тончайшем рвановесье благодать,
Но это уж совсем на заднем плане.

2. Депрессия

Депрессия – это отсутствие связи.
За окнами поезда снега – как грязи,
И грязи – как снега зимой.

В соседнем купе отходняк у буржуев.
Из радиоточки сипит Расторгуев,
Что скоро вернется домой.

Куда он вернется? Сюда, вероятно.
По белому фону разбросаны пятна,
Проехали станцию Чернь,
Деревни, деревья, дровяник, дворняга,
Дорога, двуроги, дерюга, деляга —
И всё непонятно зачем.

О как мне легко в состоянии этом
Рифмуется! Быть современным поэтом
И, значит, смотреть свысока,
Как поезд ползет по долинам лоскутным,
Не чувствуя связи меж пунктом и пунктом,
Змеясь, как струна без колка.
Когда-то все было исполнено смысла —
Теперь же она безнадежно повисла,
И, словно с веревки белье,
Все эти дворняги, деляги, дерюги,
Угорцы на севере, горцы на юге —
Бессильно скатились с нее.
Когда-то и я, уязвимый рассказчик,
Имел над собою незримый образчик
И слышал небесное «Чу!»,
Чуть слышно звучащее чуждо и чудно,
И я ему вторил, и было мне трудно,
А нынче – пиши не хочу.
И я не хочу и в свое оправданье
Ловлю с облегченьем черты увяданья,
Приметы последних примет:
То справа ударит, то слева проколет.
Я смерти боялся, но это проходит,
А мне-то казалось, что нет.
Пора уходить, отвергая подачки,
Вставая с колен, становясь на карачки,
В потешные строясь полки,
От этой угрюмой, тупой раздолбайки,
Умеющей только затягивать гайки, —
К тому, кто подтянет колки.

«Крепчает ветер солоноватый, качает зеленоватый вал...»

Ах, если бы наши дети однажды стали дружны...

И.К.

Крепчает ветер солоноватый, качает зеленоватый вал,
Он был в Аравии тридевятой,
в которой много наворовал.
Молнии с волнами, море с молом —
все так и блещет, объединясь.
Страшно подумать, каким двуполым
все тут стало, глядя на нас.

Пока ты качаешь меня, как шлюпку,
мой свитер, дерзостен и лукав,
Лезет к тебе рукавом под юбку,
кладя на майку другой рукав,
И тут же, впервые не одинокие,
внося в гармонию тихий вклад,
Лежат в обнимку «Самсунг» и «Нокия»
после недели заочных клятв.

Мой сын-подросток с твоею дочерью —
россыпь дредов и конский хвост —
Галдят внизу, загорая дочерна
и замечая десятки сходств.
Они подружились еще в «Фейсбуке»
и увидались только вчера,
Но вдруг отводят глаза и руки,
почуяв большее, чем игра.

Боюсь, мы были бы только рады
сюжету круче Жана Жене,
Когда, не желая иной награды,
твой муж ушел бы к моей жене,
И чтобы уж вовсе поставить точку
в этой идиллии без конца —
Отдать бы мать мою, одиночку, за отца твоего, вдовца.

Когда я еду, сшибая тугрики,
в Киев, Крым, Тифлис, Ереван —
Я остро чувствую, как республики
жаждут вернуться в наш караван.
Когда я в России, а ты в Израиле —

ты туда меня не берешь, —
Изгой, что глотки себе изляляли,
рвутся, как Штирлиц, под сень берез.

Эта тяга сто раз за сутки нас настигает с первого дня,
Повреждая тебя в рассудке и укрепляя в вере меня —
Так что и «форд» твой тяжелозадый
по сто раз на трассе любой
Всё целовался б с моею «ладой»,
но, по счастью, он голубой.

«Пришла зима...»

Пришла зима,
Как будто никуда не уходила.
На дне надежды, счастья и ума
Всегда была нетающая льдина.

Сквозь этот парк, как на изнанке век,
Сквозь нежность оперения лесного
Все проступал какой-то мокрый снег,
И мерзлый мех, и прочая основа.

Любовь пришла,
Как будто никуда не уходила,
Безжалостна, застенчива, смешна,
Безвыходна, угрюма, нелюдима.
Сквозь тошноту и утренний озноб,
Балет на льду и саван на саванне
Вдруг проступает, глубже всех основ,
Холст, на котором всё нарисовали.

Сейчас они в зародыше. Но вот
Пойдут вразнос, сольются воедино —
И смерть придет.
А впрочем, и она не уходила.

НОВЫЕ БАЛЛАДЫ

Первая

В кафе у моря накрыли стол —
там любят бухать у моря.
Был пляж по случаю шторма гол,
но полон шалман у мола.
Кипела южная болтовня, застольная, не без яда.
Она смотрела не на меня. Я думал, что так и надо.
В углу витийствовал тамада, попойки осипший лидер,
И мне она говорила «да», и я это ясно видел.

«Да-да», – она говорила мне не холодно и не пылко,
И это было в ее спине, в наклоне ее затылка,
Мы пары слов не сказали с ней в закуской у причала,
Но это было куда ясней, чем если б она кричала.
Оса скользила по колбасе, супруг восседал как идол...
Боялся я, что увидят все, однако никто не видел.
Болтался буй, прибывал прибой,
был мол белопенно залит,
Был каждый занят самым собой, а нами никто не занят.

«Да-да», – она говорила мне
зеленым миндальным блеском,
Хотя и знала уже вполне, каким это будет резким,
Какую гору сулит невзгод, в каком изойдет реванше —
И как закончится через год и, кажется, даже раньше.
Все было там произнесено —
торжественно, как на тризне, —
И это было слаще всего, что мне говорили в жизни,
Поскольку после, поверх стыда, раскаянья и проклятья,
Она опять говорила «да», опять на меня не глядя.

Она глядела туда, где свет закатный густел опасно,
Где все вокруг говорило «нет», и я это видел ясно.
Всегда, со школьных до взрослых лет,
распивочно и навынос,
Мне все вокруг говорило «нет»,
стараясь, чтоб я не вырос,
Сошел с ума от избытка чувств,
состарился на приколе —
Поскольку если осуществлюсь, я сделать могу такое,
Что этот пригород, и шалман, и прочая яйцекладка
По местным выбеленным холмам
раскатятся без остатка.

Мне все вокруг говорило «нет» по ясной для всех
причине,
И все просили вернуть билет, хоть сами его вручили.
Она ж, как прежде, была тверда, упряма, необорима,
Ее лицо повторяло «да», а море «нет» говорило,
Швыряясь брызгами на дома, твердя свои причитанья, —
И я блаженно сходил с ума от этого сочетанья.

Вдали маяк мигал на мысу – двулико, неодинако,
И луч пульсировал на весу и гас, наглотавшись мрака,
И снова падал в морской прогал,
у тьмы отбирая выдел.
Боюсь, когда бы он не моргал, его бы никто не видел.
Он гас – тогда ты была моя; включался – и ты другая.
Мигают Сириус, Бог, маяк —
лишь смерть глядит не мигая.
«Сюда, измотанные суда, напуганные герои!» —
И он говорил им то «нет», то «да».
Но важно было второе.

Вторая

*Si tu,
si tu,
si tu t'imagines...*

Raymond Queneau

Люблю,
люблю,
люблю эту пору,
когда и весна впереди еще вся,
и бурную воду, и первую флору,
как будто потягивающуюся.
Зеленая дымка,
летучая прядка,
эгейские лужи, истома полей...
Одна
беда,
что все это кратко,
но дальше не хуже, а только милей.
Сирень,
свирель,
сосна каравелья,
засилье веселья, трезвон комарья,
и прелесть бесцелья,
и сладость безделья,

и хмель без похмелья, и ты без белья!
А позднее лето,
а колкие травы,
а нервного неба лазурная резь,
настой исключительно сладкой отравы,
блаженный, пока он не кончится весь.

А там,
а там —
чудесная осень,
хоть мы и не просим, не спросим о том,
своим безволосьем,
своим бесколосьем
она создает утешительный фон:
в сравнении с этим свистящим простором,
растянутым мором, сводящим с ума,
любой перед собственным мысленным взором
глядит командором.
А там и зима.

А что?
Люблю,
люблю эту зиму,
глухую низину, ледовую дзынь,
заката стаккато,
рассвета резину,
и запах бензина, и путь в магазин,
сугробов картузы, сосуллек дизезы,
коньки-ледорезы, завьюженный тракт,
и сладость работы,
и роскошь аскезы —
тут нет катахрезы, всё именно так.

А там, а там —
и старость по ходу,
счастливую коду сулящий покой,
когда уже любишь любую погоду —
ведь может назавтра не быть никакой;
небесные краски, нездешние дали,
любви цинандали, мечты эскимо,
где всё, что мы ждали, чего недодали,
о чем не гадали, нам дастся само.

А нет —
так нет,
и даже не надо.
Не хочет парада усталый боец.
Какая услада, какая отрада,
какая награда уснуть наконец,

допить свою долю из праздничной чаши,
раскрасить покраше последние дни —
и больше не помнить всей этой параши,
всей этой какаши,
всей этой хуйни.

Третья

Сначала он чувствует радость, почти азарт,
Заметив ее уменье читать подтекст:
Догадаться, что он хотел сказать,
Приготовить, что он хотел поесть.
Потом предсказанье мыслей, шагов, манер
Приобретает характер дурного сна.
Он начинает: «Не уехать ли, например...»
– В Штаты! – заканчивает она.
«Да ладно, – думает он. – Я сам простоват.
На морде написано, в воздухе разлито...» —
Но начинает несколько остывать:
Она о нем знает уже и то,
Чего он не рассказал бы даже себе.
Это уж слишком. Есть тайны, как ни люби.
Сначала он в ужасе думает: ФСБ.
Но потом догадывается: *USB*.

Сначала он сам посмеивается. Потом
Начинает всерьез закусывать удила:
Писали же, что возможно таким путем —
Биохимия, все дела.
Нельзя сливаться. Душа у него своя.
Вот ведьма, думает он. Вот черт.
И поскольку она ему уже подсказывает слова,
Он отворачивается.
И закрывает порт.

Сначала, правда, они еще спят вдвоем.
Но каждая стычка выглядит рубежом.
Вдобавок, пытаюсь задуматься о своем,
Он ощущает себя, как нищий, во всем чужом.
Разгорается осень. Является первый снег.
Приворота нет, сокурсники всё плетут.
В конце концов, *USB* – это прошлый век.
Bluetooth, догадывается он. *Bluetooth*.

Раз имущества нету – нечего и делить.
При выборе «ложись или откажись»
Он объявляет ей *alt – ctrl – delete*,

Едет в Штаты и начинает новую жизнь.

Теперь во Фриско он плачет по вечерам,
От собственных писем прыгает до небес,
На работе – скандалы, в комнате – тарарам,
На исходе месяца – ПМС.
Дневная хмарь размывает ночную тьму.
Он думает, прижимая стакан к челу,
Что не он подключился к ней, не она к нему,
А оба они страшно сказать к чему.
Вся вселенная дышит такой тоской,
Потому что планеты, звезды, материки,
Гад морской, вал морской и песок морской —
Несчастные неблагодарные дураки.
Звездный, слезный, синий вечерний мир,
Мокрый, тихий, пустой причал.
Все живое для связи погружено в эфир,
Не все замечают, что этот эфир – печаль.
Океан, вздыхающий между строк,
Нашептывает: «Бай-бай».
Продвинутый пользователь стесняется слова «Бог».
– *Wi-Fi*, – думает он.
– *Wi-Fi*.

Четвертая

Отними у слепого старца собаку-поводыря,
У последнего переулка – свет последнего фонаря,
Отними у последних последнее, попросту говоря,
Ни мольбы не слушая, ни обета,
У окруженного капитана – его маневр,
У прожженного графомана – его шедевр,
И тогда, может быть, мы не будем больше терпеть
Все это.

Если хочешь нового мира, отважной большой семьи,
Не побрезгуй рубищем нищего и рванью его сумы,
Отмени снисхождение, вычти семь из семи,
Отними (была такая конфета)
У отшельников – их актинии, у монахов – их ектеньи,
Отними у них то, за что так цепляются все они,
Чтобы только и дальше терпеть
Все это.

Как-то много стало всего – не видать основ.
Все вцепились в своих домашних, волов, ослов,
Подставляют гузно и терпят дружно,

Как писала одна из этого круга
ценительниц навьих чар:

«Отними и ребенка, и друга,
и таинственный песенный дар», —
Что исполнилось даже полней, чем нужно.

С этой просьбой нет проволочек: скупой уют
Отбирают куда охотнее, чем дают,
Но в конце туннеля, в конце ли света —
В городе разоренном вербуют девок для комполка,
Старик бредет по вагонам с палкой и без щенка,
Мать принимает с поклоном прах замученного сынка,
И все продолжают терпеть
Все это.

Помню, в госпитале новобранец, от боли согнут в дугу,
Отмудохан дедами по самое не могу,
Обмороженный, ночь провалявшийся на снегу,
Мог сказать старшине палаты: подите вы, мол, —
Но когда к нему, полутрупы, направились два деда
И сказали: боец, вот пол, вот тряпка, а вот вода, —
Чего б вы думали, встал и вымыл.

Неужели, когда уже отняты суть и честь,
И осталась лишь дребезжащая, словно жесьть,
Сухая, как корка, стертая, как монета,
Вот эта жизнь, безропотна и длинна, —
Надо будет отнять лишь такую дрянь, как она,
Чтобы все они перестали терпеть
Все это?

Пятая

Приговоренные к смерти, толстые он и она,
Совокупляются, черти, после бутылки вина.

Чтобы потешить расстрельную братию,
Всю корпорацию их носфератию
В этот разок!
Чтобы не скучно смотреть надзирателю
Было в глазок.

Приговоренные к смерти, не изменяясь в лице,
В давке стоят на концерте, в пробке стоят на кольце,
Зная, что участь любого творения —
Смертная казнь через всех растворение

В общей гнильце,
Через паденье коня, аэробуса,
Через укусы крокодила, клопу,
Мухи цеце,
Через крушение слуха и голоса,
Через лишение духа и волоса,
Фаллоса, логоса, эроса, локуса,
Да и танатоса в самом конце.

Приговоренные к смерти спорят о завтрашнем дне.
Тоже, эксперт на эксперте! Он вас застанет на дне!

Приговоренные к смерти преследуют
Вас и меня.
Приговоренные к смерти обедают,
Приговоренные к смерти не ведают
Часа и дня.

О, как друг друга они отоваривают —
в кровь, в кость, вкривь, вкось,
К смерти друг друга они приговаривают
и приговаривают: «Небось!»

Как я порою люблю человечество —
Страшно сказать.
Не за казачество, не за купечество,
Не за понятия «Бог» и «Отечество»,
Но за какое-то, блядь, молодечество,
Еб твою мать.

Шестая

Перед каждой весной с пестротой ее витражовой,
Перед каждой зимой с рукавицей ее ежовой
И в начале осеннего дня с тревожной его изжогой,
Да чего там – в начале каждого дня
Я себя чувствую словно в конце болезни тяжелой,
В которой ни шанса не было у меня.

Мне хочется отдышаться.
В ушах невнятная болтовня.
Ни шанса, я говорю, ни шанса.
Максимум полтора.
В воздухе за окном тревога и сладость.
Покачиваясь, вышагиваю по двору.
Я чувствую жадность.
За ней я чувствую слабость.

Я чувствую силу, которую завтра я наберу.

Воздух волен.
Статус неопределен.
Чем я был болен?
Должно быть, небытием.

Прошлое помнится как из книжки.
Последние дни – вообще провал.
Встречные без особой любви говорят мне: «Ишь ты».
Лучше бы я, вероятно, не выживал.
Не то что я лишний.
Не то чтобы злобой личной
Томился тот, а тайной виной – иной:
Так было логичней.
Так было бы элегичней.
Теперь вообще непонятно, как быть со мной.

И я сам это знаю, гуляя туда-обратно,
По мокрому снегу тропу себе проложив.
Когда бы я умер, было бы все понятно.
Все карты путает то, что я еще жив.
Я чувствую это, как будто вошел без стука
Туда, где не то что целуются – эка штука! —
Но просто идет чужой разговор чужих;
И легкая скука,
Едва приметная скука
Вползает в меня и мухой во мне жужжит.
Весенний вечер.
Свеченье, виолончель.
Я буду вечен.
Осталось понять, зачем.

Закат над квадратом моим дворовым.
Розовость переливается в рыжину.
Мне сладко, стыдно.
Я жаден, разочарован.
Мне несколько скучно.
Со всем этим я живу.

Седьмая

За срок, который был мною прожит,
Ни дня не давал дышать без помех
Тот местный дух, который сам ничего не может
И вечно поносит всех.

Его дежурное «Не положено»,
Нехватка насущного, страх излишнего
Гнались за мною, как взгляд Рогожина
Всюду преследовал князя Мышкина.

Если я сплю не один, то это разврат.
Если один, то и для разврата я слишком плох.
Я грабитель, если богат,
А если беден, то лох.

Меня не надо, и каждый, кто не ослеп,
Видит, как я предаю Лубянку и крепость Брестскую.
Если я ем – я ем ворованный русский хлеб.
Если не ем, то я этим хлебом брезгую.

Сам он работой ни разу не оскоромился,
Даром что я наблюдал его много лет.
Это ниже его достоинства,
Которого, кстати сказать, и нет.

Иногда, когда он проваливался по шею
И у него случался аврал,
Он разрешал мне делать, что я умею,
И подать за это брал.

Периодически он мне сулил тюрьму и суму.
Тогда в ответ я давил на жалость.
«Слушай, давай я сдохну?» – я говорил ему,
Но это даже не обсуждалось.

Без меня его жизнь давно бы стала растительной —
Дуб на юру, ковыль на ветру.
Если возможен и вправду грех непростительный —
Это если я сам умру.

Смерть неприлична. Забудем про это слово.
Она не дембель, а самострел.
И правда, где он найдет другого,
Который бы это терпел
И сам же об этом пел?

Восьмая

Потом они скажут: извините.
Все так, как предсказывали вы.
Когда все это было в зените,
Нам ужасно лгали, увы.

И мы, пребывая в Вальгалле,
Глаза опуская от стыда,
Ответим: ну конечно, вам лгали.
Вам лгали, а нам – никогда.
Потом они скажут: простите.
За что? Вы знаете, за что.
Сами знаете: родители, дети,
Театры, цирки шапито.

Семейство зависит от мужчины,
От мэтра зависит травести...
Короче, у нас были причины
Именно так себя вести.

И мы – не без искренней кручины —
В ответ горячо прокричим:
Разумеется, были причины.
Лишь у нас не бывает причин.

Тогда, уже несколько уверенней,
Проявится ссучившийся друг:
– Вообще это было в духе времени.
У времени был такой дух.

И мы, оглядевшись воровато,
В ответ залепечем горячо:
– Эпоха, эпоха виновата!
С вас спросу нету, вы чо.

Тогда, добираясь до крещендо,
Они перейдут на полный глас:
С чего это нам просить прощенья?
С чего это, собственно, у вас?

С рожденья рахит, пальто из ваты,
Чесотка, болезни головы —
Короче, вы сами виноваты,
Что мы получились таковы.

И главное, нас столько чморили —
И нас, и непутевую мать, —
Что, когда мы всё это натворили,
Нас можно простить и понять.

Больные, униженные вечно,
Забывшие письменную речь...
– Конечно, – мы скажем, – конечно!
Конечно, – мы скажем, – конеч...

Бог с тобой, наша мирная обитель,
Притяжение пейзажей и масс.
Вы только отскребитесь, отскребитесь,
Хоть от мертвых отскребитесь от нас.

Девятая

Добрый читатель, что тебе надо,
чтобы не сдохнуть здесь:
Порцию меда, порцию яда, выверенную смесь?
Злой обладатель первых проплешин,
первых руин во рту,
Чем ты вернее будешь утешен в скудном своем быту?

Можем придумать сказочный остров,
солнца резервуар,
Землю с названием через апостроф, вроде Кот д'Ивуар:
Так я и вижу где-нибудь в джунглях шкуру того кота —
Там, где мелькает в бликах ажурных теплая смуглота.

Страсти-мордасти, Пристли и Кристи,
ром, буйабес, кускус,
Грозди угрозы, кисти корысти, яд, пистолет, укус,
Труп генеральши, страсть сенегальши,
выдумка, фальшь, игра —
Все что угодно, лишь бы подальше от твоего угла!

Или вернее – язвы коснуться, в тайную боль попасть,
В стоны сиротства, гордость паскудства,
бренность, растленность, власть,
Где-нибудь рядом, прямо за шторой,
за угол, корпус Б, —
Высветить бездну, рядом с которой ты еще так себе?
Что же мне выдумать? Как ввязаться
в битву за падший дух?
Муза, сейчас мы уьем двух зайцев,
двух крокодилов, двух
Хищных котов – д'ивуар и просто;
полный стакан – с пустым,
Бездну юродства с духом господства
запросто совместим.

Значит, представим южное небо, юное, как в раю,
Бухта – мечта капитана Немо, город на букву «ю» —
Чтоб в алфавите искали долго, тшась обнаружить нас.
Я – это все-таки слишком гордо. Ю – это в самый раз.

Лето, какого не помнят старцы. Золото. Синева.
Птицы, поющие сразу стансы – музыку и слова.
Лука, бамбука, запаха, звука нежные острия.
Фрукты в корзине, а в середине этой картины – я.

В душном шалмане с запахом дряни, в шуме его густом,
Вечно таская ад свой в кармане —
кстати сказать, пустом, —
С вечной виною – той ли, иною, – и, наконец, еврей;
Так что, как видишь, рядом со мною
ты еще царь зверей.

Видишь, что правда или неправда
вас не спасают врозь?
Пара кадавров, абракадабра. Надо, чтоб все слилось.
Бездна бессильна, солнце напрасно
греет пустыню вод.
Мало вам счастья – вам для контраста нужно меня.
Ну вот.

Десятая, маршеобразная

Родись я даже между Меккой и Мединой,
в античном Риме – или Греции, скорей, —
в преславной Фракии, тогда еще единой,
или в общине каннибалов-дикарей,
о, будь я даже персианин,
будь я даже марсианин,
пустыни пасынок иль тундры властелин, —
я был бы всюду христианин,
несомненный христианин,
или, церковно говоря, христианин.

Я был бы выродок, последний из последних,
травимый братьями, а главное – жрецом.
Верховный жрец или иной какой посредник
мне представлялся бы садистом и лжецом.
Я сомневался бы в догматах,
сомневался бы в стигматах,

не трепетал бы под верховною рукой —
я был бы худшим из буддистов,
анимистов, вудуистов,
а каннибал я был бы просто никакой.

Изменчив в частностях, но в главном постоянен,

беглец из перечней, реестров и систем,
я был бы именно и только христианин,
Поскольку больше я не мог бы быть никем.
Не став ни бедным, ни богатым,
ни казначеем, ни солдатом,
не умея быть ни выше, ни равней,
я был бы выжат в эту нишу,
о которой вечно слышу,
что предательство гнездится только в ней.

И я бы выучился жить, как надо в нише,
под ником «выродок» и прозвищем «дебил».
Я научился бы сперва держаться тише,
но постепенно бы на это подзабил.
И хоть поверьте, хоть проверьте —
я б перестал бояться смерти,

поскольку досыта наелся остальным,
я б научился усмехаться,
я перестал бы задыхаться —
я был бы лучший, чем сейчас, христианин.

Но так как я воспитан здесь, а не в исламе
и приучился не держаться средин,
то в этом климате и даже в этом сраме
я не последний и покуда не один.
И мой Господь смешлив и странен,
и мой народ не оболванен,
хотя над ним и потрудился коновал.
И я не лучший христианин,
и даже худший христианин —
но это лучше, чем хороший каннибал.

Ронсаровское

Как ребенок мучит кошку,
Кошка – мышку,
Так вы мучили меня —
И внушили понемножку
Мне мыслишку,
Будто я вам не родня.

Пусть из высшей или низшей,
Вещей, нищей —
Но из касты я иной;
Ваши общие законы
Мне знакомы,
Но не властны надо мной.

Утешение изгоя:
Все другое —
От привычек до словец,
Ни родства, ни растворенья,
Ни старенья
И ни смерти наконец.

Только так во всякой травле —
Прав, не прав ли, —
Обретается покой:
Кроме как в сверхчеловеки,
У калеки
Нет дороги никакой.
Но гляжу: седеет волос,
Глохнет голос,
Ломит кости ввечеру,
Проступает милость к падшим,
Злоба к младшим —
Если так пойдет, умру.

Душит участь мировая,
Накрывая,
Как чужая простыня,
И теперь не знаю даже,
На хера же
Вы так мучили меня.

«Без этого могу и без того...»

Без этого могу и без того.
Вползаю в круг неслышащих, незрячих.
Забыл слова, поскольку большинство
Не значит.
Раздерган звук, позабыт язык,
Распутица и пересортица.
Мир стал полупрозрачен, он сквозит,
Он портится. К зиме он смотрится
Как вырубленный, хилый березняк,
Ползущий вдоль по всполью.
Я вижу: все не так, но что не так —
Не вспомню.
Чем жил – поумножали на нули,
Не внемля ни мольбе, ни мимикрии.
Ненужным объявили. Извели.
Прикрыли.
И вот, смотря – уже и не смотря —
На все, что столько раз предсказано,
Еще я усмехнусь обрывком рта,
Порадуюсь остатком разума,
Когда и вас, и ваши имена,
И ваши сплющенные рыла
Накроет тьма, которая меня
Давно уже накрыла.

«Он клянется, что будет ходить со своим фонарем...»

Он клянется, что будет ходить со своим фонарем,
Даже если мы все перемрем,
Он останется лектором, лекарем, поводырем,
Без мяча и ворот вратарем,
Так и будет ходить с фонарем над моим пустырем,
Между знахарем и дикарем,
Новым цирком и бывшим царем,
На окраине мира, пропахшей сплошным ноябрем,
Перегаром и нашатырем,
Черноземом и нетопырем.

Вот уж где я не буду ходить со своим фонарем.
Фонари мы туда не берем.
Там уместнее будет ходить с кистенем, костылем,
Реагировать, как костолом.
Я не буду заглядывать в бельма раздувшихся харь,
Я не буду возделывать гарь и воспитывать тварь,
Причитать, припевать, пришепетывать, как пономарь.
Не для этого мне мой фонарь.

Я выучусь петь, плясать, колотить, кусать
И массе других вещей.
А скоро я буду так хорошо писать,
Что брошу писать вообще.

Турнирная таблица

Второй,
Особо себя не мучая,
Считает все это игрой
Случая.

Банальный случай, простой авось:
Он явно лучший, но не склалось.
Не жжал клешней, не прельстился бойней —
Злато пышной,
Серебро достойней.

К тому ж пока он в силе,
Красавец и герой.
Ему не объяснили,
Что второй – всегда второй.

Третий – немолодой,
Пожилкой и тертый, —
Утешается мыслью той,
Что он не четвертый.

Тянет у стойки
Кислый бурбон.
«Все-таки в тройке», —
Думает он.

Средний горд, что он не последний,
И будет горд до скончанья дней.
Последний держится всех победней,
Хотя и выглядит победней.

«Я затравлен, я изувечен,
Я свят и грешен,
Я помидор среди огуречин,
Вишня среди черешен!»

Первому утешаться нечем.
Он безутешен.

«В левом углу двора шелудивый пес, плотоядно скалясь...»

В левом углу двора шелудивый пес, плотоядно скалясь, рвет поводок, как выжившая Муму. В правом углу с дрожащей улыбкой старец: «Не ругайся, брат, не ругайся», – шепчет ему.

День-то еще какой – синева и золото, все прощайте, жгут листья, слезу вышибает любой пустяк, все как бы молит с дрожащей улыбкою о пощаде, а впрочем, если нельзя, то пускай уж так.

Старость, угрюма будь, непреклонна будь, нелюдима, брызгай слюной, прикидывайся тупой, грози клюкой молодым, проходящим мимо, глумись надо мной, чтоб не плакать мне над тобой.

Осень, слезлива будь, монотонна будь, опасайся цвета, не помни лета, медленно каменей. Не для того ли я сделал и с жизнью моей все это, чтобы, когда позовут, не жалеть о ней?

Учитесь у родины, зла ее и несчастья, белого неба, серого хлеба, черного льда. Но стать таким, чтоб не жалко было прощаться, может лишь то, что не кончится никогда.

Начало зимы

1. Зима приходит вздохом струнных

Зима приходит вздохом струнных:
«Всему конец».

Она приводит белоруных
Своих овец,
Своих коней, что ждут ударов,
Как наивысшей похвалы,
Своих волков, своих удавов,
И все они белы, белы.

Есть в осени позднеконечной,
В ее кострах,
Какой-то гибельный, предвечный,
Сосущий страх:
Когда душа от неюта,
От воя бездны за стеной
Дрожит, как утлая каюта
Иль теремок берестяной.

Все мнется, сыплется, и мнится,
Что нам пора,
Что опадут не только листья,
Но и кора,
Дома подломятся в коленях
И лягут грудой кирпичей —
Земля в осколках и поленьях
Предстанет грубой и ничьей.
Но есть и та еще услада
На рубеже,
Что ждать зимы теперь не надо:
Она уже.
Как сладко мне и ей – обоим —
Вливаться в эту колею:
Есть изныванье перед боем
И облегчение в бою.
Свершилось. Все, что обещало
Прийти – пришло.
В конце скрывается начало.
Теперь смешно
Дрожать, как мокрая рубаха,
Глядеть с надеждою во тьму
И нищим подавать из страха —
Не стать бы нищим самому.

Зиме смятенье не пристало.
Ее стезя
Структуры требует, кристалла.
Скулить нельзя,
Но подберемся. Без истерик,
Тверды, как мерзлая земля,
Надвинем шапку, выйдем в скверик:
Какая прелесть! Всё с нуля.
Как все бело, как незнакомо!
И снегири!
Ты говоришь, что это кома?
Не говори.
Здесь тоже жизнь, хоть нам и странен
Застывший, колкий мир зимы,
Как торжествующий крестьянин.
Пусть торжествует. Он – не мы.

Мы никогда не торжествуем,
Но нам мила
Зима. Коснемся поцелуем
Ее чела,
Припрячем нож за голенищем,
Тетрадь забросим под кровать,
Накупим дров и будем нищим
Из милосердия подавать.

2. «Чтобы было, как я люблю...»

– Чтобы было, как я люблю, – я тебе говорю, – надо еще пройти декабрю, а после январю. Я люблю, чтобы был закат цвета ранней хурмы, и снег оскольчат и ноздреват – то есть распад зимы: время, когда ее псы смирны, волки почти кротки, и растлевающий дух весны душит ее полки. Где бывала их правота, грозная белизна? Марширующая пята растаптывала, грузна, золотую гниль октября и черную – ноября, недву– смысленно говоря, что все уже не игра. Даже мнилось, что поделом белая ярость зим: глотки, может быть, подерем, но сердцем не возразим. Ну и где триумфальный треск, льдистый хрустальный лоск? Солнце над ним водружает крест, плавит его, как воск. Зло, пытавшее на излом, само себя перезлив, побеждается только злом, пытающим на разрыв, и уходящая правота вытеснится иной – одну провожает дрожь живота, другую чую спиной.

Я начал помнить себя как раз в паузе меж времен – время от нас отводило глаз, и этим я был пленен. Я люблю этот дряхлый смех, мокрого блеска резь. Умиравшим не до тех, кто остается здесь. Время, шедшее на убой, вязкое, как цемент, было занято лишь собой, и я улучил момент. Жизнь, которую я застал, была кругом неправа – то ли улыбка, то ли оскал полуживого льва. Эти старческие черты, ручьистую болтовню, это отсутствие правоты я ни с чем не сравню. Я наглотался отравы той из мутного хрусталя, я отравлен неправотой позднего февраля.

Но до этого – целый век темноты, мерзлоты. Если б мне любить этот снег, как его любишь ты – ты, ценящая стиль макабр, вскормленная зимой, возвращающаяся в декабрь, словно к себе домой, девочка со звездой во лбу, узница правоты! Даже странно, как я люблю

все, что не любишь ты. Но куда твой звездный час у меня на часах, выколачивает матрас метелица в небесах, и в четыре почти черно, и вовсе черно к пяти, и много, много еще чего должно произойти.

3. «Вот девочка-зима из нашего района...»

Вот девочка-зима из нашего района,
Сводившая с ума меня во время оно.
Соседка по двору с пушистой головой
И в шубке меховой.
Она выходит в сквер, где я ее встречаю,
Выгуливает там собаку чау-чау;
Я медленно брожу от сквера к гаражу,
Но к ней не подхожу.
Я вижу за окном свою Гиперборею,
В стекло уткнувшись лбом, коленом – в батарею,
Гляжу, как на окне кристальные цветы
Растут из темноты.
Мне слышно, как хрустят кристаллы ледяные,
Колючие дворцы и замки нитяные
На лиственных коврах, где прежде завывал
Осенний карнавал.
Мне слышится в ночи шуршанье шуб и шапок
По запертым шкафам, где нафталиновый запах;
За створкой наверху подглядывает в щель
Искусственная ель;
Алмазный луч звезды, танцующий на льдине,
Сшивает гладь пруда от края к середине;
Явление зимы мне видно из окна,
И это все она.
Вот комната ее за тюлевою шторой,
На третьем этаже, прохладная, в которой
Средь вышивок, картин, ковров и покрывал
Я сроду не бывал;
Зато внутри гостят ангина и малина,
Качалка, чистота, руина пианино —
И книги, что строчат светлейшие умы
Для чтения зимы.
Когда настанет час – из синих самый синий —
Слияния цветов и размыванья линий,
Щекотный снегопад кисейным полотном
Повиснет за окном —
Ей в сумерках видны ряды теней крылатых,
То пестрый арлекин, то всадник в острых латах,
Которому другой, спасающий принцесс,
Бежит наперерез.

Тот дом давно снесен, и дряхлый мир, в котором

Мы жили вместе с ней, распался под напором
Подспудных грубых сил, бродивших в глубине
И внятных ей и мне, —
Но девочка-зима, как прежде, ходит в школу
И смотрит на меня сквозь тюлевую штору.
Ту зиму вместе с ней я пробыл на плаву —
И эту проживу.

4. «Танго...»

Танго
Когда ненастье, склока его и пря
начнут сменяться кружевом декабря,
иная сука скажет: «Какая скука!» —
но это счастье, в сущности говоря.

Не стало гнили. Всюду звучит: «В ружье!»
Сугробы скрыли лужи, «рено», «пежо».
Снега повисли, словно Господни мысли,
От снежной пыли стало почти свежо.
Когда династия скукожится к ноябрю
и самовластье под крики «Кирдык царю!»
начнет валиться хлебалом в сухие листья,
то это счастье, я тебе говорю!

Я помню это. Гибельный, но азарт
полчасти света съел на моих глазах.
Прошла минута, я понял, что это смута, —
но было круто, надо тебе сказать.

Наутро – здрасьте! – всё превратят в содом,
И сладострастье, владеющее скотом,
затопит пойму, но, Господи, я-то помню:
сначала счастье, а прочее всё потом!

Когда запястье забудет, что значит пульс,
закрою пасть я и накрепко отосплюсь;
смущать, о чадо, этим меня не надо —
всё это счастье, даже и счастье плюс!

Потом, дорогая всадница, как всегда,
Настанет полная задница и беда,
А все же черни пугать нас другим бы чем бы:
Им это черная пятница, нам – среда.

5. «Как быстро воскресает навык!..»

Как быстро воскресает навык!
Как просто обретаем мы
Привычный статус черных правок
На белых дистихах зимы.
Вписались в узы узких улиц,
Небес некрашеную жесть...
Как будто мы к тому вернулись,
Что мы и есть.
С какою горькою отрадой
Мы извлекаем пуховик,
А то тулуп широкозадый:
Едва надел – уже привык.
Кому эксцесс, кому расплата,
Обидный крен на пару лет,
А нам – костяк, – писал когда-то
Один поэт.
Как быстро воскресает навык —
Молчи, скрывайся и урчи;
Привычки жучек, мосек, шавок,
Каштанок, взятых в циркачи,
Невнятных встреч, паролей, явок,
Подпольных стычек, тихих драк;
Как быстро воскресает навык
Болезни! Как
По-детски, с жаром незабытым —
Чего-то пишем, всё в уме, —
Сдаешься насморкам, бронхитам,
Конспирологии, чуме,
И что нас выразит другое,
Помимо вечного – «Муму»,
Тюрьма, сума, чума и горе
Ума/уму?
Не так ли воскресает навык
Свиданий с прежнею женой,
Вся память о словах и нравах,
Ажурный морок кружевной:
Душа уныло завывает,
Разрыв провидя наперед, —
Плоть ничего не забывает,
Она не врет.

Смешней всего бояться смерти,
Которой опыт нам знаком,
Как рифма «черти» и «конверте».
Его всосали с молоком.

И после всех земных удавок
Еще заметим ты и я,
Как быстро к нам вернется навек
Небытия.

«Средневозрастный кризис простер надо мной крыло...»

Средневозрастный кризис простер надо мной крыло.
Состоит он в том, что
Смотреть вокруг не то чтобы тяжело,
Но тошно.
Утрачивается летучая благодать,
Вкус мира.
Мир цел, как был, но то, что он может дать,—
Все мимо.

Устал драчун, пресытился сибарит,
Румяный Стива.
Вино не греет, водка не веселит,
Не лечит пиво.
Притом вокруг все чаще теперь зима,
Трущобы.
От этого точно можно сойти с ума.
Еще бы.

Хлам стройки, снега февральского абразив,
Пустырь промокший —
Я был бы счастлив, все это преобразив,
И мог же, мог же!
Томили меня закаты над ЖБИ,
Где, воленс ноленс,
Меж труб и башен я прозревал бои
Небесных воинств;

Но шхеры, бухты, контур материка,
Оснастку судна,—
В них можно видеть примерно до сорока,
А дальше трудно.

Теперь я смотрю на то же, и каждый взгляд
Подобен язве.
Того, чем жить, мне больше нигде не взять.
Придумать разве.
Ни лист, ни куст не ласкают моих очес,
Ни пеночка, ни синичка.
Отныне все, что хочется мне прочесть,
Лишь сам могу сочинить я.
Дикарские орды, смыслу наперекор,
Ревут стозевны.
В осажденной крепости объявляется переход
На внутренние резервы.

Так узник шильонской ямы, сырой дыры,
Где даже блох нет,
Выдумывает сверкающие миры,
Пока не сдохнет.
Так бледные дети, томясь в работных домах,
Устав терпеть их,
Себе сочиняют саги в пяти томах
О грозных детях;
Так грек шатался средь бела дня с фонарем,
Пресытись всеми,—
И даже мир, похоже, был сотворен
По той же схеме.
Не то чтобы он задумывался как месть —
Не в мести сила,—
Но в приступе отвращения к тому, что есть.
Точней, что было.
Отсюда извечный трепет в его царях —
Седых и юных;
Отсюда же привкус крови в его морях,
В его лагунах,
Двуликость видов, двуличие всех вещей,
Траншеи, щели —
И запах тленья, который всегда слышней,
Где цвет пышнее.

«Я не стою и этих щедрот...»

Я не стою и этих щедрот —
Долгой ночи, короткого лета.
Потому что не так и не тот
И с младенчества чувствую это.

Что начну – обращается вспять.
Что скажу – понимают превратно.
Недосмотром иль милостью звать
То, что я еще жив, – непонятно.

Но и весь этот царственный свод —
Свод небес, перекрытый и правил —
Откровенно не так и не тот.
Я бы многое здесь переставил.

Я едва ли почел бы за честь —
Даже если б встречали радушной —
Принимать эту местность как есть
И еще оставаться в ладу с ней.

Вот о чем твоя вечная дрожь,
Хилый стебель, возросший на камне:
Как бесчувственен мир – и хорош!
Как чувствителен я – но куда мне

До оснеженных этих ветвей
И до влажности их новогодней?
Чем прекраснее вид – тем мертвей,
Чем живучее – тем непригодней.

О, как пышно ликует разлад,
Несовпад, мой единственный идол!
От несчастной любви голоса,
От счастливой – но кто ее видел?

И в единственный месяц в году,
Щедро залитый, скупко прогретый,
Все, что вечно со всем не в ладу,
Зацветает от горечи этой.

Вся округа цветет, голоса, —
Зелена, земляна, воробьиная.
Лишь об этом – черемуха вся,
И каштан, и сирень, и рябина.

Чуть пойдет ворковать голубок,
Чуть апрельская нега пригреет —
О, как пышно цветет нелюбовь,
О, как реет, и млеет, и блеет.

Нелюбовь – упоительный труд,
И потомство оценит заслугу
Нашей общей негодности тут
И ненужности нашей друг другу.

«В Берлине, в многолюдном кабаке...»

В Берлине, в многолюдном кабаке,
Особенно легко себе представить,
Как тут сидишь году в тридцать четвертом,
Свободных мест нету, воскресенье,
Сияя, входит пара молодая,
Лет по семнадцати, по восемнадцати,
Распространяя запах юной похоти,
Две чистых особи, друг у друга первые,
Любовь, но хорошо и как гимнастика,
Заходят, кабак битком, видят еврея,
Сидит на лучшем месте у окна,
Пьет пиво – опрокидывают пиво,
Выкидывают еврея, садятся сами,
Года два спустя могли убить,
Но нет, еще нельзя: смели, как грязь.

С каким бы чувством я на них смотрел?

А вот с таким, с каким смотрю на всё:
Понимание и даже любованье,
И окажись со мною пистолет,
Я, кажется, не смог бы их убить:
Жаль разрушать такое совершенство,
Такой набор физических кондиций,
Не омраченных никакой душой.
Кровь бьется, легкие дышат, кожа туга,
Фирменная секреция, секрет фирмы,
Вьются бестиальные белокудри,
И главное, их все равно убьют.
Вот так бы я смотрел на них и знал,
Что этот сгинет на восточном фронте,
А эта под бомбежками в тылу:
Такая особь долго не живет.
Пища богов должна быть молодой,
Нежирною и лучше белокурой.
А я еще, возможно, уцелею,
Сбегу, куплю спасенье за коронку,
Успею на последний пароход
И выплыву, когда он подорвется:
Мир вечно хочет перекрыть мне воздух,
Однако никогда не до конца:
То ли еще я в пищу не гожусь,
То ли я, правду сказать, вообще не пища.
Он будет умирать и возрождаться,
Неутомимо на моих глазах,

А я – именно я, такой, как есть,
Не просто еврей, и дело не в еврействе,
Живой осколок самой древней правды,
Душимый всеми, даже и своими,
Сгоняемый со всех привычных мест,
Вечно бегущий из огня в огонь,
Неуязвимый, словно в центре бури, —
Буду смотреть, как и сейчас смотрю:
Не бог, не пища, так, другое дело.

Довольно сложный комплекс ощущений,
Но не сказать, чтоб вовсе неприятных.

Песни славянских западников

1. Александрийская песня

Был бы я царь-император,
В прошлом – великий полководец,
Впоследствии – тиран-вседушитель,
Ужасна была бы моя старость.
Придворные в глаза мне смеются,
Провинции ропщут и бунтуют,
Не слушается собственное тело,
Умру – и все пойдет прахом.

Был бы я репортер газетный,
В прошлом – летописец полководца,
В будущем – противник тирана,
Ужасна была бы моя старость.
Ворох желтых бессмысленных обрывков,
А то, что грядет взамен тирану,
Бессильно, зато непобедимо,
Как всякое смертное гниенье.

А мне, ни царю, ни репортеру,
Будет, ты думаешь, прекрасно?
Никому не будет прекрасно,
А мне еще хуже, чем обоим.
Мучительно мне будет оставить
Прекрасные и бедные вещи,
Которых не чувствуют тираны,
Которых не видят репортеры:

Всякие пеночки-собачки,
Всякие лютики-цветочки,
Последние жалкие подачки,
Осенние скучные отсрочки.
Прошел по безжалостному миру,
Следа ни на чем не оставляя,
И не был вдобавок ни тираном,
Ни даже ветераном газетным.

2. О пропорциях

Традиция, ах! А что такое?
Кто видал, как это бывает?

Ты думаешь, это все толпою
По славному следу ломанулись?

А это один на весь выпуск,
Как правило, самый бесталанней,
В то время как у прочих уже дети,
Дачи и собственные школы, —

Такой ничего не понимавший,
Которого для того и терпят,
Чтобы на безропотном примере
Показывать другим, как не надо, —
Ездит к учителю в каморку,
Слушает глупое брюзжанье,
Заброшенной старости капризы
С кристалликами поздних прозрений.

Традиция – не канат смоленый,
А тихая нитка-паутинка:
На одном конце – напрасная мудрость,
На другом – слепое милосердь.

«Прогресс», говоришь? А что такое?
Ты думаешь, он – движенье тысяч?
Вот и нет. Это тысяче навстречу
Выходит один и безоружный.

И сразу становится понятно,
Что тысяча ничего не стоит,
Поскольку из них, вооруженных,
Никто против тысячи не выйдет.

Любовь – это любит нелюбимый,
Вопль – это шепчет одинокий,
Слава – это все тебя топчут,
Победа – это некуда деваться.

Христу повезло, на самом деле.
Обычно пропорция другая:
Двенадцать предали – один остался.
Думаю, что так оно и было.

3. «Квадрат среди глинистой пустыни...»

*Зимою холодная могила, летом раскаленная печь;
настоящий ад – Шэол.*

Дмитрий Мережковский

Квадрат среди глинистой пустыни
В коросте чешуек обожженных,
Направо – барак для осужденных,
Налево – барак для прокаженных.

Там лето раскаленное печи,
На смену – оскал зимы бесснежной,
А все, что там осталось от речи, —
Проклятия друг другу и Богу.

Нет там ни зелени, ни тени,
Нет ни просвета, ни покоя,
Ничего, кроме глины и коросты,
Ничего, кроме зноя и гноя.

Но на переломе от мороза
К летней геенне негасимой
Есть скудный двухдневный промежуток,
Вешний, почти переносимый.

Но между днем, уже слепящим,
И ночью, еще немой от стыни,
Есть два часа, а то и меньше,
С рыжеватыми лучами косыми.

И в эти два часа этих суток
Даже верится, что выйдешь отсюда,
Разомкнув квадрат, как эти строфы
Размыкает строчка без рифмы.

И среди толпы озверевшей,
Казнями всеми пораженной,
Вечно есть один прокаженный,
К тому же невинно осужденный,

Который выходит к ограде,
И смотрит сквозь корявые щели,
И возносит Богу молитву
За блаженный мир его прекрасный.

И не знаю, раб ли он последний
Или лучшее дитя твое, Боже,
А страшней всего, что не знаю,
Не одно ли это и то же.

4. «В России блистательного века...»

В России блистательного века,
Где вертит хвостом Елисавета,
Умирает великий велогонщик,
Не выдумавший велосипеда.
Покидает великий велогонщик
Недозрелую, кислую планету.
Положил бы под язык валидольчик,
Да еще и валидольчика нету.

В Англии шестнадцатого века
Спивается компьютерный гений,
Служащий лорду-графоману
Переписчиком его сочинений,
А рядом – великий оператор,
Этого же лорда стремянный, —
Он снимает сапоги с господина,
А больше ничего не снимает.

Ты говоришь – ты одинока,
А я говорю – не одинока,
Одинок явившийся до срока
Роботехник с исламского Востока.
Выпекает он безвкусное тесто
С детства до самого погоста,
Перепутал он время и место,
Как из каждой сотни – девяносто.

Мой сосед, угрюмо-недалекий, —
По призванию штурман межпланетный:
Лишь за этот жребий недолетний
Я терплю его ремонт многолетний.
Штробит он кирпичную стену
На завтрак, обед и на ужин,
Словно хочет куда-то пробиться,
Где он будет кому-нибудь нужен.

Иногда эти выродки святы,
Иногда – злонравны и настырны:
Так невесте, чей жених не родился,
Все равно – в бордель ли, в монастырь ли.
Иные забиваются в норы
И сидят там, подобно Перельману,
А иные поступают в Малюты,
И, клянусь, я их понимаю.

Я и сам из этой породы.
Подобен я крылатому змею.
Некому из ныне живущих
Оценивать то, что я умею.
Живу, как сверкающий осколок
Чьего-то грядущего единства,
Какому бы мой дар бесполезный
Когда-нибудь потом пригодился:

Способность притягивать немилость,
Искусство отыскивать подобных,
Талант озадачивать безмозглых,
Умение тешить безутешных.

5. «Были мы малые боги...»

Были мы малые боги,
Пришли на нас белые люди,
Поставили крест на нашем месте,
Отнесли нас в глубину леса.

К нам приходят в глубину леса
Захваченные темные люди,
Приносят нам свои приношенья,
Хотя у них самих не хватает.
Захваченные темные люди
Горько плачут с нами в обнимку —
Кто бы в дни нашего величья
Разрешил им такую фамильярность?

– Бедные малые боги,
Боги леса, огня и маниоки,
Ручья, очага и охоты,
Что же вы нас не защитили?

Боги леса, костра и маниоки
Плачут, плачут с ними в обнимку:
Кто бы во дни их величья
Разрешил им такое снисхождение?

– Простите нас, темные люди,
А мы-то еще на вас сердились,
Карали вас за всякую мелочь
Неумелою отеческой карой!

А теперь запрягли вас в машины,
Погнали в подземные шахты;

Кровь земли выпускают наружу,
Кости дробят и вынимают.

А богов очага и охоты
Отнесли и бросили в чащу;
Вы приносите им приношенья,
А они ничего не могут.

Знаем мы, малые боги,
Боги леса, ручья и маниоки:
Вас погубят белые люди,
А потом перебьют друг друга,

Крест упадет, подломившись,
Шахты зарастут, обезлюдев,
На машинах вырастет плесень,
В жилищах поселятся гиены,

И останутся малые боги
На земле, где всегда они были:
Никто их не выбросил в чащу,
Никто не принесет приношений.

«Не рвусь заканчивать то, что начато...»

Не рвусь заканчивать то, что начато.
Живу, поденствуя и пасясь.
Сижусь, читаю Терри Пратчетта
Или раскладываю пасьянс.

Муза дремлет, а чуть разбудишь ее —
Мямлит вяло, без куражу,
Потому что близкое будущее

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.